СТРАХ...

Дмитрий ФУРМАН

Как День страха войдет в историю 25 февраля 1990 года. Демократически настроенные люди, которых жены отправляли на демонстрацию почти как на войну, боялись провокаций «Памяти», или даже не «Памяти», а тех таинственных «реакционных сил», которые где-то в недрах партаппарата и аппарата КГБ вынашивают дьявольские планы (как масоны и сионские мудрецы в фашистской мифологии) и готовят «кровавую баню». Как известно, прошло все предельно спокойно, без каких-либо намеков на провокации. Но сам факт выступления Рыжкова, призывов Верховного Совета СССР и руководителей творческих союзов, сосредоточения войск и милиции (в касках, чтобы нельзя было проломить голову камнями, и со щитами), водометов, машин с песком (чтобы нельзя было перевернуть), перегораживающих дорогу к Кремлю, приготовлений в больницах для приема раненых — все говорит о том, что правительство тоже боялось, и даже очень. Демонстранты боялись «кровавого воскресенья», а правительство — чуть ли не взятия Кремля народными массами под предводительством Юрия Афанасьева и Гавриила Попова.

При этом страх одних порождал страх других. Порожденные дикими слухами призывы «не поддаваться на провокации» убеждали людей, что провокации будут, и порождали новые слухи. Все это — какой-то театр абсурда, комедия, которая очень легко могла перейти в трагедию, ибо нет людей более агрессивных и опасных, чем люди, находящиеся в паническом страхе. И сейчас, очевидно, всем — и демонстрантам, и руководителям правительства — стыдно, ибо они приняли друг друга за «кого-то другого», в темноте приняли соседского теленка за волка, и слава Богу, что еще не убили его со страху. Откуда же этот страх?

Отчасти, разумеется, он связан с влиянием кровавых событий в Румынии и в наших южных республиках. Однако дело далеко не только в этом. Во-первых, совершенно ясно, что ситуация в Москве совершенно иная, чем в Бухаресте, Баку и Душамбе. Во-вторых, страх начался задолго до 25 февраля.

Когда накануне вечером Москва опустела — все сидели по домам — наступила кульминация страха, который начался с начала перестройки, постепенно усиливаясь и заглушая эйфорию 1985—86 гг. Яркий социально-психологический документ, который сохранил для будущего страхи русского интеллигента перестроечного периода, — повесть А. Кабакова «Невозвращенец». Автор нагромождает кошмарные образы будущего: полуразрушенная Москва, банды, мусульманские террористы, фашистский православный диктатор и одновременно — съезд революционных пар-

тий. И в этой нелогичности особая ценность ставшей знаменитой книги, которая как бы выплескивает наружу образы, прячущиеся в «подсознании». И одновременно становится ясно, откуда взят «материал» этих образов: это образы революции 1917 года и гражданской войны, модифицированных современными реалиями.

Прошлое не проходит даром. Оно остается в памяти и формирует характер человека. Человек, которого зверски избили и изнасиловали,— уже не тот человек, каким он был до этого. То же самое и с народом. Народ, прошедший через 1917 год и гражданскую войну, 1930 год, 1937 год,— это другой народ, чем тот, каким он был раньше. 1917 год и все, что за ним последовало,— не только цепь событий, это еще и серия психических травм, приведших к глубокому неврозу нашей национальной психики. При малейшем намеке на ситуацию, аналогичную 1917 году, память вызывает всю цепь страшных картин, и сейчас наша психика переживает колоссальное напряжение. Мы находимся на пути к долгожданной свободе, но путь этот страшен, потому что мы уже однажды шли по этому пути и то, что случилось, вспоминать не только страшно, но и стыдно: само воспоминание об этом унижает наше человеческое достоинство. Мы идем и боимся; и хотим идти дальше, и в глубине души — не хотим, ибо знаем, что плохо кончим. Так, может быть,— пусть скорее кончается? Может быть, если кончится скоро,— будет не так страшно, а то, если зайти далеко, случится нечто жуткое, какой-нибудь новый Сталин.

Я думаю, что возникшие у нас в публицистике призывы к либеральной диктатуре, равно как и сама идея сильной президентской власти, связаны не только с разного рода рациональными соображениями, но и с этими страхами.

Однако, указав на 1917 год и последующую цепь событий как на причину нашего невроза, на психическую травму, являющуюся источником наших страхов, мы указали лишь на относительно поверхностную причину. Есть причины более глубокие. Прежде всего возникает вопрос о том, кто же нанес нам эту психическую травму? На этот вопрос есть два ответа: «русофобский» и «русофильский».

Первый ответ — «русофобский». Никто не наносил нам травм, никто нас не насиловал и не обманывал. Просто мы сами — такие, мы сами себя обманули и изнасиловали. Мы сами подготовили советскую историю всей своей предыдущей российской историей — нашим самодержавием, нашим крепостным правом, нашей государственной церковью, нашими бакуниными и нечаевыми. 1917 год был естественным порождением нашей культуры. Каковы мы, такова и наша революция (американцы — другие, у них и революция была другая, и Сталина не было). Задолго до революции мы были «городом Глуповым», «страной рабов, страной господ». И сейчас мы такие же. Мы обречены жить плохо, ибо не умеем работать. Мы обречены жить при диктатуре, ибо не умеем быть свободными людьми. Все наше прошлое, кроме ничтожно малого по времени периода с февраля по октябрь, за который нам пришлось заплатить сполна,— прошлое рабов, периодически устраивавших бунты, «бессмысленные и беспощадные».

Поэтому русофоб вздрагивает при словах «русский патриотизм». Он знает, что любовь к России и ее прошлому — это любовь к рабству, что для того, чтобы стать свободными, надо перестать быть русскими. Поэтому он глубоко убежден, что «Память» — это страшная сила, которой принадлежит будущее, что

Шафаревич — будущий официальный идеолог, а когда ему говоришь, что вся «Память» может поместиться в одном большом зале, а либералы собирают многие сотни тысяч, у него наготове возражение, которое я слышал уже много раз: «Большевиков тоже было мало».

Второй ответ — «русофильский». Мы прекрасный народ: добрый, честный, великодушный, но мы столкнулись с чужеродными злыми силами (евреи, масоны), которым удалось подчинить нас, использовать нас в своих дьявольских целях. По-видимости, этот ответ — противоположный, но легко показать, что противоположность эта чисто внешняя, что русофильский ответ подразумевает нашу слабость. Из него вытекает, что мы народ большой и, может быть, даже добрый, но очень глупый. «Русофилы» — это те же «русофобы», прикрывающие свой комплекс неполноценности хвастовством, проецирующие во вне страх перед собственной слабостью и ничтожеством. За русофобией и русофилией стоит единый комплекс неполноценности, единый невроз нашего национального характера. (Поэтому они так легко переходят друг в друга. Человек не выносит ощущения своей неполноценности и начинает хвастаться, но хвастовство снова кончается пьяными слезами и самобичеванием.) Поэтому наш страх повторения семнадцатого года — лишь проявление значительно более глубокого страха самих себя, неверия в свои силы.

И очень легко показать, что хотя травмы нашей советской истории во много раз усугубили наш невроз, возник он задолго до революции. Он возник с наших первых столкновений с далеко ушедшим вперед Западом. Почувствовав, что мы «хуже», мы стали или пытаться перестать быть самими собой, с отвращением уничтожая все внешние признаки нашей индивидуальности, как это делал Петр (в глубине души ощущая, что ничего сделать нельзя, как ни переодевайся, мы все равно останемся русскими и значит — неполноценными), или — заглушать свой комплекс неполноценности хвастовством. Русофобия и русофилия (которая — та же русофобия) неотъемлемы от нашей культуры, нашей национальной психики. Они есть уже в XVII веке, в петровское время, у западников и славянофилов. Теперешние споры «неозападников» и «неославянофилов» — продолжение очень старых споров, только ставших более болезненными от недавних психических травм, — споров, которые наша невротическая национальная душа ведет сама с собой. Это — невроз, и он мучителен и опасен, ибо, как любой невроз, мешает правильно оценивать происходящее, вызывает неадекватные реакции, особенно в кризисных ситуациях, когда более всего требуется спокойствие и хладнокровие. Что же делать с этим неврозом? Можно ли от него освободиться?

Мне думается, что освободимся мы от него очень не скоро. Но мы можем научиться контролировать его, не давать ему хода, узнавать его проявления в периодически возникающих приступах страха и преодолевать их.

Для этого нам прежде всего надо осознать, что он есть и что он вызван вполне реальными причинами — особенностями нашей культуры, затрудняющими наше движение к современному демократическому обществу. Те немногие западные страны (Англия, Нидерланды, Америка), которые в силу специфики своей уникальной культурной традиции первыми достигли зрелой стабильной современной демократии, создали тем самым для нас и вообще для всего мира модель того, каким должно быть нормальное современное общество. Не стремиться к этой модели нельзя — и потому,

что с ней неразрывно связан высокий технический и экономический уровень, к которому стремятся даже те, кто не хочет свободы, и потому, что стремление к свободе в конечном счете присуще человеку. Не стремиться к этой модели невозможно так же, как подростку невозможно не стремиться стать взрослым. Однако нам, с нашей совсем иной, чем западноевропейская, культурной традицией, достичь «взрослой» нормы трудно.

Мы действительно не очень-то умеем быть свободными, и наша революция — действительно, порождение нас самих, нашей культуры. И хотя сейчас наш невроз многократно преувеличивает опасности, они все же есть. Констатация этого — еще не русофобия, это просто — констатация факта, как утверждение подростка, что ему трудно, например, дается математика,— еще не фобия, не невроз, наоборот, это та трезвая оценка трудностей, без которой невозможно их преодоление. Но здесь очень легко может возникнуть невроз: если подросток после серии неудач решит, что он хуже всех, всех никчемнее, у него опустятся руки, и он вообще перестанет учиться. Поэтому надо не только понять трудности, но и понять, что они должны быть преодолены, могут быть преодолены и в конечном счете непременно будут преодолены.

Здесь очень много значит пример других. Относительно легко и быстро достигли «взрослой нормы» лишь очень немногие страны. Большинство же преодолевало и преодолевает разные трудности — разные и по степени, и по характеру, как различны трудности детей, стремящихся достичь модели «взрослости» (один никак не может овладеть математикой, у другого особые сложности с половым созреванием и т. д.). Точно так же индийские трудности — совсем иные, чем китайские, наши — иные, чем латиноамериканские. Но трудности были или есть у всех. И «эксцессы» взросления были у всех — в той или иной степени.

Мы слишком много думаем о себе, о наших бедах, и как-то забываем, что даже французы, которые сейчас для нас — образец стабильной демократии, достигли стабильности лишь в середине нашего века, что ведь им тоже пришлось пройти через Робеспьера, Наполеона, Реставрацию и еще три революции и Парижскую Коммуну. Не говоря уже о немцах, об испанцах, история которых в XIX веке — история сплошной гражданской войны, а в этом веке у них тоже — гражданская война и Франко. А всех ужасов латиноамериканской истории мы просто не знаем — у нас ее не преподают. И все эти кровавые «эксцессы» процесса демократизации неотделимы от разного рода «неврозов», естественных для этого процесса, как подростковые неврозы естественны для процесса взросления. Наш невроз отнюдь не исключение.

Достаточно прочитать Маркеса, чтобы понять, как страшен внутренний мир у латиноамериканской души, как она ощущает безнадежность своей истории, истории стран, которые никак не могут стать такими, как их северный сосед, которые никак не могут вырваться из бедности и выйти из порочного круга непрочных демократий, сменяемых безумными диктатурами. Достаточно прочесть Лао Шэ, чтобы увидеть все страдания китайца, доходящие до глубокой ненависти и презрения к своей культуре, к своему народу, к самим себе. Без мук перехода к стабильной демократии нет практически нигде. И тем не менее, этой стабильной демократии достигают все новые и новые страны.

За первыми странами протестантской Северной Европы и Америки после многих мук и крови к ней пришли католическая Южная Европа и Германия, приходит Латинская Америка.

Сейчас демократия охватывает весь мир. Демократические институты укореняются в Турции и Таиланде, Индии и Алжире, Египте и Индонезии. Укоренятся они и у нас. Укоренятся, даже если мы менее предрасположены к демократии, чем Турция или Алжир (что очень сомнительно). Укоренятся просто потому, что как ни трудно взросление, взрослость неминуема.

И еще нам надо четко понять, что через все наши муки и беды шел процесс нашего развития, и сейчас мы значительно ближе к демократической взрослой норме — по своему уровню образования, своей социальной структуре, всему состоянию нашего общественного организма — чем в 1917 году. Навязчивое воспоминание о нашем провале мешает нам выполнить задачу, к которой объективно мы сейчас во много раз более подготовлены, чем раньше. Сейчас единственное, что нужно,— это спокойствие и трезвость, и мы обретем эту норму, не обрести которую в конечном счете просто нельзя.

Но окончательно излечиться от невроза можно будет лишь тогда, когда мы действительно придем к общечеловеческой норме, станем нормальным обществом. Тогда исчезнут и русофобия и русофилия, как нет англофобии и англофилии у англичан, нет американофобии и американофилии у американцев, как исцелились (хотя и страшной ценой) от германофобии и германофилии немцы. Тогда мы перестанем стыдиться себя и бояться себя. И может быть, 25 февраля, когда все оказалось не так страшно, когда мы поняли, что на самом деле мы значительно взрослее, цивилизованнее, нормальнее, чем мы сами о себе думаем, будет одним из шагов в нашем исцелении от страха перед самими собой — от русофобии.

(Окончание со стр. 14)

по АЭС в Армении? Между тем, противоборствующие стороны в Закавказье уже применяют боевые вертолеты, танки и зенитные орудия...

Хрупкость и уязвимость советской экономики, включающей атомную и химическую промышленность, производство биологического (бактериологического) оружия в условиях обострения межнациональной розни чреваты новыми и новыми Чернобылями. Однако это — лишь первый взрывоопасный слой. Варварские, почти откровенно колониалистские методы, с помощью которых Москва пытается спасти империю от развала, вызывают радикализацию националистических движений в республиках, умножают число реальных экстремистов. Следствием такой политики могут стать потоки крови как в процессе самоопределения закавказских и среднеазиатских народов, так и после него — в национальных войнах между мусульманами и христианами, а также внутри мусульманского мира. Происходящий на наших глазах неуправляемый развал советской империи, весьма вероятно, породит полную дестабилизацию обстановки и нарушение сложившегося баланса сил во всем огромном Закавказско-Среднеазиатском регионе.

Бюллетень „Век XX и мир" № 5 (на русском языке) ежемесячный.
Напечатано в СССР. Типография изд. АПН. 107005. Москва, ул. Фр. Энгельса. 46.
Сдано в набор 16.03.90. Подписано в печать 11.04.90. Б — 04435.
Заказ 846. Объем 3 п. л.
Отпечатано в типографии № 6. Тираж 220000 экз.